

18⁺ Светлана Шимоне

ДАВИД И МОИСЕЙ



(история пяти картин Шагала)

роман

Светлана Шимоне

**Давид и Моисей. История
пяти картин Шагала**

«Издательские решения»

Шимоне С.

Давид и Моисей. История пяти картин Шагала / С. Шимоне —
«Издательские решения»,

Недавняя бесценная находка на границе гор между Пьемонтом и Лигурией послужила для автора попыткой разобраться в этой запутанной многонаселённой истории. Её главные герои — живые картины и двое разных, но больших художников, чей похожий колорит граничит с перерождением души, а потому их метафизическое столкновение неизбежно... Роман Светланы Шимоне (драматурга, сценариста, писателя, актрисы) — это современно-историческая драма с элементами мистики, которая не оставит равнодушными многих.

© Шимоне С.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1.	6
Глава 2.	8
Глава 3.	11
Глава 4.	14
Глава 5.	16
Глава 6.	17
Глава 7.	19
Глава 8.	22
Глава 9.	24
Глава 10.	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Давид и Моисей История пяти картин Шагала

Светлана Шимоне

Редактор Татьяна Меньшикова

© Светлана Шимоне, 2026

ISBN 978-5-0070-7301-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается моему мужу

Глава 1.

Первая картина Шагала — «Двор».

1907, 50х70, холст/масло

Небо казалось зелёным, в сторону изумруда, — наступал рассвет. Звёзды разбежались и спрятались. По небу шёл старик, опираясь на палку, сгорбившись и сутулясь, шёл, широко шагая, то входя в облако, то выходя из него. Он двигался, подсвеченный первыми лучами солнца. Невидимая дорога вела его куда-то всё выше и выше, в золото небес, где, как рассказывала бабушка, жил Бог. Зачем старик так спешит к Нему? И что ему нужно от Него, вечно живущего в небесах? И вообще, как этот Бог держится на облаках в своём кресле и не падает? Да и старик как-то не должен так свободно по небу расхаживать, ведь это — небо, а не земля, с него можно и свалиться! Солнце показало золотой диск, и старик, словно марево, растворился в нём...

Непонятно, то ли ещё спишь, то ли уже проснулся? Где-то горланит петух, его хриплый голос Мальши слышит сквозь полудрёму. Похоже, петух хочет разбудить не только своих кур, но и всю округу, иначе, зачем же так оглушительно орать?

От этой мысли Мальши окончательно просыпается. Он тихо сползает с кровати, тихо-тихо, чтоб никого не разбудить, и крадётся к двери, по дороге прихватив кружку.

Дверь предательски скрипит и выпускает его в сени, уже залитые утренним светом. Лучи солнца отражаются в банках, в бутылках на полках. Везде прыгают солнечные зайчики. Они слепят глаза. И даже, когда зажмуриваешься, сквозь веки зайчики прорываются красными вспышками.

Ещё одна дверь, и охватывает утренняя прохлада. Мальши ёжится. Первые лучи солнца едва ли согревают.

Мальши смотрит на небо... А-а! Он вспомнил! Его сон был про небо. Он летал! Летал! И крыши домов были в красивых разводах, в зелёных и синих квадратах, а между ними — лиловый забор. Лиловый! А какой же ещё?

Через двор, гремя вёдрами, спешит морицинистая Бабушка:

— Опять проснулся ни свет, ни заря? Идём, молочка тебе надою.

Она берёт его за руку. Из хлева тянет теплом, парным молоком и сеном. Для кого-то хлев — просто сарай для скотины, а для него — таинственное царство. О чём они думают, все эти разноцветные птицы? О чём вздыхает жёлтая коза? Рыжий кот стреляет презрительным взглядом. Петух недовольно мотает головой и издаёт ворчливый клёкот: опять песню испортили... Ну и что? Разве это так страшно?

Всё это — как продолжение сна, всё полно намёков, полутонов и загадок... Ну и пожалуйста, храните свои тайны! Его это мало волнует!

Мальши отвернулся и уже смотрит на огромную широкобрюхую корову, прижимая кружку к животу.

Бабушка доит корову, и струйки молока со звоном бьют по дну ведра. Вот и кружка, — она в полминуты наполняется молоком.

— Спасибо, — выдыхает Мальши, мгновенно опустошая кружку.

— Ей скажи спасибо, нашей кормилице, — почти поёт Бабушка.

Мальши поднимает глаза... Ух ты! Корова — красная, как варёный рак! Она пристально, не мигая, смотрит на него. Вот это взгляд! Он не может оторваться от её раскосых упрямых глаз...

Раз — и готово. Шагал наскоро склоняется над холстом, выводит подпись — чёрные крючочки букв: *Марк...* Конечно, «Марк». Не «Мовша», не «Моисей». Он давно уже Марк. *Марк Шагал*. Ведь «Се-гал» обратилось в «Шагал». И чем плохо?

Отходит, оценивая картину. Кажется, получилось. Двор, как живой, даже слышен запах хлева. Пожалуй, он так и назовёт картину — «Двор».

Шагал ясно помнит тот день, — день печальный, но удивительный. И в картине нет грусти. Он перенёс на холст лишь яркие, поющие краски. Но печаль воспоминанья, всё же, щиплет сердце.

Он, маленький Мовша — едва лет пяти — примчался в хлев. Стоит в одних башмачках и сорочке, растерянный, прогоняя сон. Кудрявые волосики слежались и торчат во все стороны. В глазах слёзы.

На соломе у стены лежит его любимая бурая корова. Лежит на боку, ноги связаны верёвками. Она глядит перед собой с покорной грустью, словно понимая: она перестала давать молоко, и жизнь её теперь ничего не стоит.

Возле коровы возится дедушка, вздыхая:

— Иди в дом, Мошек. Попей чай с роголиком, согрей живот. Ничего интересного тут не будет.

Из коровьего глаза большой стеклянной каплей сползает слеза.

Мовша не в силах оторваться от этого зрелища. Он бежит к корове, обнимает ручонками огромную шею:

— Коровка... коровка... Не плачь... У тебя самые красивые глаза...

А ночью ему мерещится, что распятая по стене коровья шкура вдруг заискрилась, задвигалась, как живая, снова становясь коровой. Она отделяется от стены и медленно выплывает в окно, подмигнув Мовше своими чудными глазами. Он таращится во двор, в темноту. По чёрно-синему небу тихо ползут облака... Да нет же, не облака! Это ангелы парят, зацепившись за звёзды. А между ними, слегка покачиваясь, плывёт его бурая корова...

Глава 2.

Дэвид. 2013 г.

Солнце стояло высоко в небе, освещая бескрайние хребты Балканских гор. Неровными выпуклыми грядами тянулись они за горизонт, как драконьи спины.

Дэвид сосредоточенно вёл машину. Его молоджавое лицо было подёрнуто лёгкой небри-
тостью, и надо лбом разметалась копна непослушных смолянистых волос.

Марьяна завидовала его богатой шевелюре.

— Куда тебе столько? — удивлялась она, и непонятно было, чего больше звучит в её голосе — нежности или ехидства, — Ты и так у меня красавчик. Даже нос с горбинкой тебя не портит — такой мачо. Надо ещё серьгу в ухо и подбрить виски. Для художника это стильно, понимаешь?

Дэвид не понимал. Он вообще не брал в расчёт, когда Марьяна начинала рассказывать, как его должны воспринимать и почему его так должны воспринимать. Эти понятия были чужды для него, — он не работал на публику. Он слушал свои эмоции, которые сами по себе притягивали ценителей его творчества. И потому он на дух не переносил всё, что считалось стильным, модным, гламурным, в тренде. Для него напускной блеск публики перекрывал сакральную тему эмоций художника. А за десять лет, пока Дэвид не был на родине, посетители экспозиций и различных биеннале поменялись именно в эту сторону. Если раньше на выставках было много его друзей-художников, то за этот год он встретил едва ли пару-тройку, — кто-то добровольно отдался алкогольному безумию, кто-то давно сменил профессию, разочаровавшись. Теперь шумные арт-события посещали иные люди — заточенные под другое. Исчезла искренность и подлинный интерес. Их вытеснили эпатаж и дешёвые эффекты, а Дэвид ненавидел всё псевдоэлитарное. Но почему-то именно на такие мероприятия пыталась заманивать его Марьяна в течение года. Безусловно, среди гостей выставок и презентаций встречались и коллекционеры, и олигархи, разбирающиеся в искусстве. Но чаще всего, туда плыли потоками стильные дамы, разодетые в «тяжёлый люкс», а хуже того — ультразагорелые в разгар зимы красавцы и красавицы, не страдающие комплексами. И в результате, хороший вернисаж превращался в престижную тусовку, где искусство смешивается с безвкусицей. А этого Дэвид терпеть не мог.

Потому и серьгу в ухо он так и не начал носить, хотя Марьяна настаивала. Даже от этой мелочи художника что-то охраняло изнутри. Он интуитивно противился любому вторжению в гармонию. Но последняя выставка, устроенная Марьяной, повергла Дэвида просто в шок.

На этот раз выставались *его* картины. Ещё только подъезжая, он почуял неладное. У входа в модную галерею курили какие-то девицы в странных нарядах, вряд ли имеющие отношение к искусству. На парковке красовались кайаны да майбахи и даже пара ретро автомобилей затесалась между ними. Похоже, деньги приехали, — подумал Дэвид, — а вот как насчёт эстетов, ну, хотя бы знатоков? Он вошёл внутрь с опаской.

Марьяна задумала целое представление. Дресс-код, вероятно, был отдан на усмотрение приглашённым, и уж те не поскупились на фантазии. Пространство галереи заполонил цветастый маскарад, скорее напоминающий балаган, — люди болтали, смеялись, чокались бокалами, изредка поглядывая на выставленные на стенах картины. Мелькали вспышки, озаряя несуразные костюмы и вульгарные шляпы позирующих для фото группок и отдельно с бокалами стоящих *celebrity*.

Но в качестве особого «шика», понял художник, была предьявлена парочка на небольшом подиуме в центре. Отнюдь не худенький господин средних лет был затянут в тесный костюмчик чёрного кота, а ля булгаковский бегемот. Возле тёрлась девица в белом напудрен-

ном парике времён Людовиков, в кружевных панталонах и светящейся гирляндой на круглой попке. Впереди из корсета выглядывала её голая грудь. Девушка томно исполняла некий танец, извиваясь вокруг господина, как вокруг импровизированного шеста.

Дэвид с недоумением оглядывался. Он слышал несущийся откуда-то с потолка психоделический джаз, который, вероятно, должен был вносить особый шарм, обострять восприятие и помогать глубже вникать в тайны представленных картин. Но эти картины, так тщательно отобранные им для галереи и так бережно собственноручно развешанные накануне в продуманном определённом композиционном порядке и особом сочетании сине-фиолетовых пятен, эти картины смотрели теперь со стен с таким же недоумением или немым вопросом: зачем мы здесь?

Со всех сторон, под звон бокалов, крутились разговоры на разные, не имеющие отношения к выставке темы. До художника долетали обрывки фраз:

— ...это просто монстр скорости, суперкар. Двигатель — 1 600 лошадиных сил.

— ...и сколько ты отдал за своего бугатти?

— ...нет, что вы! Турнир в Монте-Карло не входит в «Большой шлем». Это мастерс. Там и призовой фонд другой...

— ...как куда? На Бора-бора. Мы теперь отдыхаем только на островах.

Дэвид неподвижно стоял посреди этого шума, с видом человека, которому сообщили страшную новость. Он чувствовал, что теряет сознание.

— Ну, слава богу! Опоздал на полтора часа! Звоню, звоню... — к нему подскочила недовольная возбуждённая Марьяна.

Её лицо, от лба до подбородка, рассекала чёрная нарисованная линия, как разделительная полоса на дороге. По бокам от линии расходились серебристым веером блёстки. Кроваво-красные губы изгибались, как две толстые гусеницы. Дэвид глядел словно на маску.

— Ну как, круто здесь всё? — продолжала маска, — А почему серьгу не надел? Ну, хоть сегодня! Мы ж договорились!.. Что с лицом? Чего такой кислый-то?

Что с лицом? — Он мог бы задать тот же вопрос, но у него не хватило сил. Ему физически становилось всё хуже. Отшатнувшись, он сделал неловкий шаг в сторону и поплёлся в глубь зала.

Куда он шёл? Зачем? И сам не знал. Только чувствовал, как внутри нарастает бессильное жгучее отчаяние. Режущая слух какофония неуместных звуков давила, прибавала к земле.

Он зашёл за колонну и присел на корточки, обхватив голову руками. Смолянистые волосы струились сквозь пальцы. Горло сдавило, из груди вырывалось почти звериное рычание. Плечи его вздрагивали. Да, он плакал. Всё было не так! Всё такая дикая безвкусица! Ну почему пространство, где находится частичка его творческого труда, заполнено этим «трендогламуром»? Почему всё то, от чего его всегда воротило, Марьяна, как нарочно, собрала именно на его экспозиции?! Это не выставка его произведений, а какой-то чужеродный эксперимент!..

— Привет, маэстро! — рядом выросли ноги Стефана — его агента по живописи. — По моему, это успех. Весело и волшебное.

Дэвид поднял на него умоляющий взгляд. Глаза Стефана смеялись.

— Ну, а что ты хотел? Тут тебе не Рим, не Лондон. Сказали, самое модное арт-пространство...

Дэвид заскрежетал зубами.

— Мои картины здесь задыхаются... они живые. Это шоу диссонирует, оно их убивает. Картины сейчас воспламенятся... взорвутся.

— Неужели? В этом диссонансе, между прочим, пара твоих работ уже... тютю, — Стефан покрутил пальцем, указывая вверх, — продана. А у нас ещё две недели.

— Стефан, ты не понимаешь...

— Это ты не понимаешь, — Стефан присел рядом и похлопал его по плечу, — благодаря твоей Марьяне, мне удалось затащить сюда нужных людей...

В тот же вечер художник забрался в свой подержанный внедорожник — он выменял его на картину когда-то — внедорожник был старенький, но надёжный — вот кто не предал его за десять лет — и укатил прочь.

План отступления готовился уже давно, а ультрамодная выставка лишь послужила спусковым крючком. Дэвид задержался на родине, даже позвал сюда Стефана, в надежде, что что-то изменится. Но теперь окончательно убедился: как десять лет назад, уже не будет. Его картины восприняли здесь, как модный атрибут, на фоне которого можно покрасоваться. Но сами по себе они не нужны. Их не чувствуют...

И потому, Дэвид мчался сейчас через Балканы в своём джипе, аккуратно загруженном чистыми холстами, красками и подрамниками, под парящую в салоне симфонию Моцарта, и чувствовал себя почти свободным. Во всяком случае, теперь он был точно свободен от Марьяны, её пошлых идей и серьги в ухе.

Давно ныла спина и слипались глаза, но дорога, с надвигающимися по бокам горами, казалась бесконечной. Она неслась ему навстречу, вилась змеёй, то влево, то вправо, пряталась в прорубленных тоннелях, ползла над пропастью и всё круче и круче забиралась в горы.

Весёленький серпантин, — размышлял Дэвид, — с одной стороны нависают острые скалы, и вряд ли хилая защитная сеточка на склонах удержит камнепад, а с другой — крутой обрыв.

В метре от трассы, и вправду, зияла пустотой пропасть. Здесь езда особенно опасна — настоящая дорога «смерти». Такая не простит не единой ошибки.

Прямо, как Марьяна, — думал Дэвид. — Лучше не смотреть.

Но пропасть знала свою силу: она открывала ему громадную в глубину многокилометровую заросшую лесом пасть, пестревшую всеми оттенками зелёного. Внизу, на зелёном бархатном сукне рассыпались жемчугом редкие светлые домики. А дальше — на всём протяжении взгляда ввысь — горы, горы, горы. Вид великолепный...

Ничего, успею налюбоваться, — думал Дэвид, — и крепче вцепился в руль. Возможно, он окунулся бы в это буйное неистовство, будь то сразу после выставки. Но теперь уже нет.

На подъёмах он, то и дело, проваливался в беззвучный вакуум — закладывало уши. Тогда взволнованные скрипки и флейты, парящие в салоне, глохли, шли сдавленно, будто кто-то перекрывал артерию. На спусках Дэвид вместе с Моцартом плавно возвращался в реальность, как из лёгкого обморока.

Долой усталость. Никаких обмороков или падений в пропасть. Только не сейчас. С каждой горной вершиной, на которую взлетал художник, его воодушевление росло: он видел конечную цель этой пытки дорогой. В финале утомительного марафона заветным трофеем маячил дом — его первый собственный дом! Его мастерская!

Глава 3.

Вторая картина Шагала — «Петух и Курица». 1908, 40х45, холст/масло

День искупления. Благословенный печальный день. За окошком ещё брезжит свет — последняя зыбкая связь с миром Господним, и в гаснувшем свете вдали идёт старик, опираясь на палку. Идёт сгорбившись, ссутулясь. Он гонит по дороге красную козу, как жертву на закланье.

А в хлеву царит почти молитвенный полумрак. Петух и Курица осторожно клюют по зёрнышку, что-то предчувствуя. Воздух в хлеву будто застыл — спёртый, душной, давящий. Краски сгущаются до бурого. Курица и Петух — каждый зыркает пугливым глазом. Перья их словно уже обагрились кровью — рыжие, огненные, жгучие.

В последний раз Петух глотает зёрнышко и распушает хвост. В последний раз его несушка мирно топчется рядом. Острая коса у стены уже занесена. И лестница, устремлённая вверх, уже указывает путь в небо.

Ох-ох, мрачный резник уже точит-точит лезвие, примеряясь к расправе. Скоро хлев огласится истошными криками Петуха и надрывным квохтаньем Курочки. Забьются в страхе их слабые сердца, полетят пух и перья, заклокочет и забрызжет кровь, орошая красными горошинами сапоги резника.

Но перед этим, в синагоге зажгутся свечи, заблестят глаза, задвигаются губы в молитвах. Имена, разноцветными бусинами, покатаются с губ друг за другом, моля о здравьи детей и родственников, испрашая покой усопшим. Несчастное тельце Курочки вскинута над головами, закружат в бешеном танце:

— Прими жертву во искупление наше! Да сохрани нас Господь на долгие годы!..

Подрастая, Мовша всё сильнее верит, что с ним должно случиться что-то особенное. И никаким кантором или бухгалтером он не станет. А уж, тем более, не будет, как отец, ворочать тяжеленные бочки с селёдками. Всё, хватит! Решено! Он хочет быть... художником! Разве он похож на других? Ведь, не спроста он когда-то видел ангелов в окне...

— Да ты никак спятил! — ужасается мама, — Что за ремесло?

Но вот он стоит и упрямо корпит над листком бумаги — рисует гипсовую голову. И зачем она ему сдалась? Как ни стараешься, всё равно, выходит криво. И все эти шикарные портреты баронов и баронесс, развешанные кругом — сплошная скукота. Он так никогда не сможет. Но ему так и не надо! А как надо? Мовша и сам не знает.

Зато теперь у него есть свои холсты и краски! Ух, этот пьянящий запах. И самая волшебная из всех красок — фиолетовая. Он обожает этот цвет. Фиолетово-синие облака, фиолетовая земля, дома — и те, фиолетовые.

— Господин Сегал... — с вежливым ужасом шепчет всегда спокойный и любезный учитель живописи Пэн, — это... провокация. Поймите, нужна портретность. Вы должны делать точное воспроизведение натуры, соблюдать пропорции. В этом мастерство рисования.

Мовша заикается, краснеет, но упрямо делает по-своему. Ничего он не должен! Можно подумать! Это дело вкуса!.. И, вообще, он больше не Сегал, а Шагал. И не Мовша, а Марк. И это всё ему уже надоело, он лишь теряет время.

А что, если рвануть из Витебска в Петербург? С деньгами или без — не важно. Уж на корку хлеба наскребёт, ведь главное — искусство! А ещё главнее — писать не как все. А как?

Да Бог его знает. Но годится он только в художники и уверен, что выйдет в люди. Он постоянно погружается в эти мечтания, взлетая над миром.

Но вот одна мысль терзает его, уже несколько месяцев не даёт покоя: он встретил девушку... О, её глаза! И имя чудесное — Белла. И, кажется, они познакомились давным-давно, и она всегда была рядом, наблюдала за ним... хотя увидел он её тогда впервые. Шагала колеблется, — как поступить? Петербург или Белла? Белла или Петербург? Нет, он не осмелится остаться с ней. Он решает ехать.

Но Петербург — неприветлив. В школе Рериха его натюрморты разносят в пух и прах, денег — гроши. Вдобавок, нет злосчастного вида на жительство, а значит — проваливай за черту оседлости, и всё тут. Неужели ангелы отвернулись?

Он снимает углы, каморки, койки в ночлежках, а то и в кутузке проводит ночи. Вот уж, где вольготно, — законный ночлег, чистая арестантская роба, обед. И рисуй — сколько хочешь!

В конце концов, добытое правдами и неправдами рекомендательное письмо к Леону Баксту — у него в руках. Учиться у знатного модерниста в его новаторской школе — предел мечтаний! Ведь Бакст — это не только Петербург. Это Европа. Это Париж.

Известный модернист, качая головой, с острой стрелкой пробора в рыжих волосах, снисходительно по-барски разглядывает его работы и бесстрастно резюмирует:

— При вашем таланте, юноша, вы, к сожалению, испорчены самодеятельностью. Но... не окончательно.

Ого! Вот так похвала! Шагала вечно слышал от всех одни упрёки: нелепая мазня, каша, цветовая мешанина! А тут...

И вот он в студии великого Бакста. А вокруг — не менее великие студийцы — графиня Толстая, танцовщик Нижинский, богато одетые барышни. И как его вдохновляют речи мэтра. Тот вальяжно прохаживается между учениками, в элегантном костюме и безупречном галстуке, декламируя с изящной манерностью довольно неизящные речи:

— Новые художники должны быть наглыми, дерзкими и грубыми. Новое искусство должно быть примитивным, ему наплевать на изысканности и эстетство.

Шагал в восторге. Но снова неудачи. Его этюды — сплошная нелепица. Учитель не доволен, ученики искренне сочувствуют. Это выше его сил! Что же делать, если в этом «новом» искусстве он намерен следовать только своему собственному инстинкту, а ваши правила — не для него? Но Париж... Париж... маячит впереди, зовёт...

В Париже грядут «Русские сезоны», и Бакст с труппой Мариинского театра навсегда покидает Петербург. А как же он, Шагала?

— Ле... Леон Самуэлевич... — догоняет он на лестнице великого учителя, как обычно заикаясь и краснея, — не мог бы я... с вами... с вами... в Париж?..

— В Париж? — тот пожимает плечами. Он и представить не может, что в эту минуту решается судьба его ученика. — А вы грунтуете декорации?

— Конечно! — не задумываясь, выпаливает Шагала.

— Что ж, пожалуй, возьму вас... — и мэтр удаляется, горделиво вскинув голову.

Шагал растерянно замер, — он понятия не имеет, как грунтуются декорации. Похоже, дороги их с Бакстом теперь расходятся? Но как разойтись по дороге в Париж? Он отправится туда, чего бы ему это ни стоило! Однако, на какие шиши?

Шагал скручивает в увесистый рулон холсты и рисунки — уже этого добра предостаточно! — и направляется в багетную лавку. Может, повезёт, и у него купят под рамы хоть что-то?

В лавке напояженный приказчик раскладывает пасьянсом, словно большие карты, на стеклянном прилавке его работы. Пальчики — белые, фарфоровые, как у барышни. Он перебирает ими холсты, тасует, вертит. Прищуренные глазки разбегаются, — невиданная куча разноцветных картин — с полсотни, а то и больше.

— Так-с-э... Так-с-э... — он причмокивает, потирая фарфоровые ручки, — Любопытно-с... Весьма любопытно-с... Угодно ли вам, сударь, оставить пару картин для продажи?

Шагал почти не дышит, но старается держаться непринуждённо.

— Пару?.. Только вот не соображу, какие. Вообще-то, они все великолепны. Во всяком случае так утверждает мой учитель Леон Бакст. Вы, конечно, слышали о его школе? Там учится графиня Толстая и танцовщик Нижинский из Императорского театра.

Приказчик приторно улыбается.

— О-о... что вы говорите...

— Дело в том, — уверенно продолжает Шагал, — что я скоро уезжаю в Париж, деньги мне не помешают. Пожалуй, оставлю вам для продажи... все.

Но, когда через неделю он возвращается, этот липкий хитрец-приказчик под локоть выпроваживает его из лавки.

— Знать не знаю, кто вы, сударь. Не помню, не помню...

— Как это не помните?.. Как это не помните? — возмущается Шагал, — Вот же мои картины!

— А будете упорствовать, позову жандарма, — и напوماженный выталкивает его прочь, подальше от лавки.

Что б ты провалился, жаба! — так и хочет крикнуть Шагал в спину приказчику. Но в Париж он, всё равно, поедет! Иначе, зачем он становился художником?

Глава 4.

Дэвид. 2013 г.

Дэвид резко повернул руль. Заваленная холстами и подрамниками теснота джипа заворачивалась, завозила, как разбуженная.

— Э-эй! Так нельзя, — рулить с шести утра безостановочно. Уже и Моцарт не помогает. Всё, пора тормозить!

И, выбрав одну из диких смотровых площадок, Дэвид заехал на траву над обрывом и выключил мотор. Музыка смолкла. Дэвид отстегнул ремень безопасности, откинул сиденье. «Дом, жди меня... Я только глаза прикрою... Я только...», — успело пронестись у него в голове, и сон сразил его.

...Месяц назад Дэвид уже знал, что сделает это — что поменяет жизнь, что купит дом в горах. К переменам он был готов всегда и сам их искал. Дурацкая вампука выставки, которая изгнала его прочь с родины, только сработала спусковым крючком.

На самом деле, ему грех жаловаться на судьбу — она его наградила сполна. Дэвид был одарённым художником. Картины его дышали необъяснимой энергией. Они притягивали смотрящего на них. Эксперты говорили, что в пространстве его фиолетово-синих композиций хотелось жить. Это чуяли и вездесущие дилеры. У Дэвида появился агент — Стефан. Цены на картины Стефан с каждым годом поднимал, добывая состоятельных клиентов. Дэвид стал модной знаменитостью в европейских кругах. Это вселяло уверенность в будущем.

Однако, обострённость чувств подчас мешала, постоянные сомнения точили изнутри, как скрытая инфекция. Внешнее благополучие не давало ощущения опоры. Дэвид успокаивался только, когда рисовал. Дальше — вновь сомнения, вновь — поиски чего-то. Душа металась. «Найти то — не знаю чего, пойти туда — не знаю куда», — как читала ему, маленькому, бабушка нараспев. И Дэвид был убеждён, что стоит отыскать это нечто, и он будет жить в мире с самим собой. Может, оттого он и носится по свету, пытаясь обрести в расстояниях то, что не может поймать во времени.

Казалось бы, давно покинул свою старую родину, попытался найти другую на Земле Обетованной, потом уехал в Новый Свет, вернулся в Старый; встал на ноги, заработал и потратил кучу денег и опять заработал; ловкий Стефан — вот уж прирождённый торгаш — агент по призыванию и выдумщик — позиционировал его как звезду европейского авангарда Дэвида Л., вошедшего в большую моду — столько перемен, столько успехов, а удовлетворённости как не бывало. Покоя нет. Только поиски этого нечто мучительно и неотвязно преследуют его.

О своей особой мастерской художник мечтал всегда, ещё в студенчестве. Затем мечта перекочевала за ним в Тель-Авив, в Нью-Йорк и в Европу. Но везде было не то. Он жаждал иметь не просто место для творчества, — хотелось сугубо своего пространства.

Риелтор предложил французские Альпы. Он нашёл в горах для Дэвида пустующее, явно старенькое шале. Уверял, что хозяйка отчаялась его продать, потому и цена небольшая.

Ну, конечно! Его мастерская должна быть не в толчее мегаполисов, её место — за пределами суеты, повыше — в горах, ближе к звёздам. Возможно, там, на вершинах земного шарика, на отстранённых точках пересечения координат, в выси, под облаками, среди разряженного воздуха и солнечных лучей, — именно там возможно найти ответы на вопросы, которые мучили его.

Дэвид ужасно обрадовался. А когда открыл присланную ему риелтором ссылку, то просто обомлел: среди цветущего луга, окаймлённого голубыми горами, на фоне бескрайнего неба,

стоял он. Его дом. Дэвид видел это глазами и ощущал нутром. Особое — «найти то — не знаю чего» обретало формы.

Однако соглашаться сразу, с бухты барахты, было бы безрассудством. Но он внимал чувству, а вовсе не рассудку. А чувство томилось, тянулось ввысь, вело к шале среди горных лугов. И Дэвид сдался.

Марьяне он ничего не сказал. Просто сообщил, что, возможно, хотел бы уехать поработать в горы.

Марьяна, как обычно, усмехнулась.

— Понятно, кризис среднего возраста. Я бы там взвыла, в глухомани. Лучше смотри, с какой галереей я договорилась для твоей выставки. Там бывает очень крутая публика. Надо общаться с людьми, а не сидеть в горах.

Дэвид промолчал. Не стал спорить. Но решил тогда, что уж точно уедет в горы.

Глава 5.

Третья картина Шагала — «Натюрморт со сливами». 1907, 40х50, холст/масло

Праздник Симхат-Торы. В городе гулянье. Со стороны базарной площади несётся музыка, слышен добродушный шум голосов, смех.

Даже деревья за окном этой скромной комнатки, склонясь друг к другу, сплелись ветками, словно в танце, радостно переищёптываются листьями.

Да и сама комнатка принарядилась — так и сияет вся жёлтой охрой. На столе всё разложено, как на ладони — тарелка со сливами, гранёный стакан, трубка, кружка, кривая пузатая бутылка и яблоко. Нечего сказать — богатое празднество!

Кажется, что стены вдруг раздвинулись, и проницательные дядюшки заглядывают в комнату, тянут свои длинные носы к столу. Вот шевелятся их тени внизу, словно души предков.

Дядюшки — ярко выраженные евреи, один — долговязый, тощий и усатый, а второй — с большим брюхом, добрейшая душа. Как он умудрился протиснуться сюда? В синагоге, наверняка, ребе не успел договорить и последнюю молитву, а эти уже оба — тут как тут. Знают, где выпить. Поди, и в синагогу-то бежали бегом, а после — нырк сюда. Шарят шаловливыми глазками по столу: ну-ка, чем тут угощают?

Но бутылка не из простых, — надёжно прячет в себе прозрачную жидкость. Что, дядюшки, уже раскатали толстые губы? Хитрый кривой сосуд, знай себе, держит соблазнительное пойло, словно скряга. Схватил — не отдаёт, закрывшись пробкой, как замком.

Зелёная кошка забралась на стул, свернулась калачиком. Ей одной нет дела до слив и водки. Подумаешь, угощение! Ни тебе сметаны, ни молока. Лучшие погреться на тёплом стуле, пока не согнали.

А вот дядюшек несколько не пугает скудная трапеза. Разве нужны этим двум лепёшки, пирожки да сахарные груши? Сегодня евреи пьют! Евреи сегодня пляшут, толкуют по душам и даже могут запеть!

Глава 6.

Дэвид. 2013 г.

Дэвид крепко спал в Джипе на откинута сиденье. Его сморило той вязкой, мимолётной дремой, которая наскоро случается только в дороге. И снилась ему не Марьяна.

Когда он очнулся от сна, лежал ещё несколько мгновений, не понимая, где он. Вспомнил сновидение и захотелось чуть-чуть удержать его. Как рваные кадры старой плёнки, мелькали в сознании сюжеты: раннее утро, воздух, пропитанный дождём и мальвами, бурая корова Жэмка в хлеву, петух дерёт глотку, и бабушка Варварка, в накрест перевязанном на груди платке, идёт через двор, гремя вёдрами.

Там, в деревне, маленький Давид впервые начал рисовать. Бабушка находила ему огрызки карандашей, какие-то картонки. Он даже запомнил день, когда впервые ощутил этот восторг — рисовать. Счастливое было детство — тёплое, уютное...

Мимо проносились машины, грузовики, автобусы, оглушая гулом моторов.

Дэвид не шевелился. Внутри было светло и грустно. Почему детские воспоминания преследуют его в последнее время? Раньше такого не было... Говорят, ностальгия — спутник одиночества.

Одиночество... Всегдашнее одиночество. Он привык жить с ним — наверное, жизнь любого художника соткана из бесчисленных нитей одиночества, — куда ни кинь, ты наедине с собой и своим творчеством.

...Сентиментальный настрой скоро развеялся. Миновав очередной зигзаг между скалами, Дэвид глянул в телефон: точка в навигаторе приближалась к красному участку дороги. Среди буро-зелёного ландшафта на карте, с расходящейся сеткой белых дорожных вен, этот участок горел сгустком крови — будто тромб закупорил свободное движение кровотока. Это значило, впереди дорожные работы или трасса перекрыта по другой причине. В любом случае, придётся простоять.

Только не это, — застонал Дэвид. Он так надеялся перебраться через Балканы и въехать в Альпы до темна.

Но встречака опустела, а поток машин на его стороне уплотнился. Вскоре скорость движения снизилась, бесконечная череда разногабаритного транспорта остановилась и застыла в нетерпеливом ожидании.

Это надолго, — вздохнул Дэвид, глядя в спину передней машины. С досадой выключил мотор и вышел на воздух. Впереди замелькали огни. Далеко, за грузовиками и автобусами, показались полицейские и дорожная техника.

Подойдя ближе, он содрогнулся. Дорогу завалило глыбами. Камни разной величины преградили путь. А сверху торчал зазубриной скалистый бок, будто чья-то могучая рука стесала его часть огромным, небывалых размеров штихелем или клюкарзой, и отколовшаяся глыба, прорвав защитную сетку, свалилась вниз, прямо на трассу, распавшись на множество частей.

Экстренные службы оттаскивали экскаватором и вручную глыбы и мелкие камни. Полицейские огородили место сигнальными лентами. Бесконечные очереди остановившихся машин тянулись в обе стороны от аварии, как застывшие русла рек, а люди, покинув машины, мрачно разглядывали оползень, как бы примеряя на себя, на свои хрупкие жизни последствия этого ужаса. Как великодушны балканские боги, не допустившие человечески жертв.

Постояв и поглазев со всеми, Дэвид отправился обратно к джипу.

Он шёл и думал о том, что горы — живые. Они растут, дышат. Они насмотрелись каменными глазами с вершин на суету этого мира. Они тяжело вздыхают, и вздохи вырываются наружу камнепадами или потоками огненной лавы.

Художник вдруг вспомнил, как с бабушкой они поднимались в гору, перегоняя Жэмку на дальнее пастбище. Он — маленький — шустро подпрыгивая, видел, как бабушка Варварка тяжело ступает, как прогибается с каждым шагом ее спина. Чтобы подбодрить её, он спросил:

— Бабушка, когда ты была молодая, ты быстрее шла вверх? У тебя же было больше сил?

— Да нет, Давидушка, силы те же, но горы растут, и ничего с этим не поделаешь.

Маленькому Давиду ответ показался странным. Но теперь Дэвид поразился мудрости её слов. Да, горы растут, живут своей жизнью, и с этим ничего не поделаешь.

Он шёл вдоль нескончаемой вереницы машин и вдруг замер. Внезапная мысль обожгла его: неспроста обрушение, оползень сошёл не зря. Это знак! Мосты сожжены. Прощай прежняя жизнь. Прощай, Марьяна! Как говорят в этих краях, «збогом»! Или «чао»! Так и есть, чао!

...Движение возобновилось через пару часов. Автомобильная река вздрогнула, медленно потекла через огороженный перешеек между обрывом и завалом. Полицейские подгоняли поток взмахами рук. Они спокойно и властно управляли дорожной стихией.

Глава 7.

Париж, 1910—1914 гг.

Париж всё расставляет по местам. Шагал не просто счастлив — он окрылён! Париж — его город!

Елисейские поля, улица Сен-Жак, Монмартр, — Шагал глотает огромные пространства день за днём и не может насытиться. Он бродит по извилистым улицам, по брусчатым мостовым, шагами меряет площадь Бастилии. Как легко здесь дышать! И никакой урядник или жандарм не схватит его, не посадит за решётку, как бесправного жидёнка.

А вот и сердце Парижа — Нотр-Дам. Шагал поражён причудами готики, ажуром башен и стрельчатых арок. А серые горгульи и химеры так и тычут клювами, так и дразнят: ну, что, художник, допрыгнешь до нас? Взлетишь над Парижем? Над Европой? Над миром?

Шагал не отводит глаз. Он принимает вызов. Он влипает в тело этого города, в его плоть и кровь, слышит его пульс. Он растворяется в его многоликости. И белые камни, мосты, цветы, каштаны, яркие витрины, статуи, небо и звёзды, и даже рынки с их бесконечными сырами, овощами и винами — всё теперь его. Париж стал родным, как Витебск.

В Лувре — его давно ушедшие друзья — Рембрандт, Рафаэль, Леонардо Да Винчи. Шагал бродит по залам, как дитя среди великанов, возвращаясь к полотнам Шардена, Фуке, Жерико. Но Рембрандт... Тут он просто стоит как прикованный.

Дальше наплывают Моне, Делакруа, Писсарро, Курбе, Ренуар. Шагал ликует — он попал к «своим»! Так вот почему на родине его не слышат, не верят, отторгают его язык. Там он не вписывался, он чужой. Как обидно! А здесь они повсюду — Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс — бесконечная череда друзей.

Шагал не может насытиться Парижем — ни одна академия не дала бы ему столько знаний и техники ремесла.

На чердаке, в крохотной каморке в «Улье» — знаменитом пристанище художников — он пишет дни напролёт. А что? Времени навалом. Кусок хлеба на завтрак — и к холсту.

Но, кто же он? Импрессионист? Кубист? Скорее, ни то, ни другое. И, вообще, к чёрту теорию. Картины — состояние души. А душа лишена рации, она не терпит ни расчёта, ни фальши.

И, всё-таки, кто он? Что за птица — Шагал? Не сюрреалист, не кубист, не импрессионист, не символист. Кто тогда? А хоть бы и реалист, — смиряется он. Чем плохо? Корова у него на картине всегда корова, и никак иначе! Но вот верх он, всё-таки, поменяет с низом, — земное окажется в небе. Как вам всем такое? И, вообще, никакой он не художник. А кто? Да хоть бы и птица. Или коза, или корова. Да! Он — корова с раскосым упрямым взглядом. Да здравствует безумие!

Даже Бакст, его надменный рыжеволосый мэтр, не слишком-то с ним любезный, увидев здесь, в Париже, его работы, с удивлением замечает:

— Хм, теперь ваши краски запели.

Значит, он — Мовша Сегал, изгой, безродный еврей, неумёха — в Париже стал человеком! Такой вы сделали вывод, господин учитель. Сам-то «ученик» в себе не сомневался никогда.

Год летит за годом. Шагал обрастает знакомыми, друзьями — стал своим в парижской богеме. И вот уже первые продажи, скромные выставки, небольшие доходы. Однако, Шагал доволен. Он мысленно подмигивает горгульям — что, не ожидали?

Но что-то не даёт ему покоя и тянет домой.

Ему приснился сон. Он бредёт по ночному Парижу. Город пустынный, серый и блестящий после дождя, вокруг ни души. Вот он на улице Лаффит, разглядывает картины в витринах галереи Дюран-Рюэля, а вокруг — на тротуаре, в окнах и на крышах горят семисвечники. Да, полно иудейских менор. Они мерцают, соревнуясь со звёздами, освещая ему путь туда, куда он должен идти.

Шагал идёт. Вдруг слышится тоненький голос скрипки — протяжный еврейский мотив. Мимо проезжает телега, громящая колёсами по брусчатке. Мужик в грязной рубахе везёт в телеге трясущиеся бочки. От них несёт до боли знакомым нещадным духом селёдки. Им пропитано всё — и воздух, и камни, и чавкающая грязь под ногами. И вовсе это не улица Лаффит, а какие-то хмурые домишки, косые заборы. Где-то мычат коровы. Старые бородатые евреи клюют носами на приступках. Неподдалёку колченогие прилавки, уставленные яйцами, сметаной и рыбой. С рыночной площади доносится весёлая, бойкая ругань:

— Ах ты, жулик! Не мясо — одни кости!

— Смотри, куда прёшь, косорукий! Ослеп, что ли?

— Метлой ему под зад!

— Купите курочку!

— Пошла ты со своей курочкой! Она у тебя древней праотца Авраама!

Шагал чуть не плачет, — он узнаёт милый, пропахший селёдками рай.

А вот и еврейский оркестр, — звуки скрипок и флейт пляшут в воздухе. Навстречу плывёт свадебная процессия. И в центре, в облаке белой фаты... Белла! Его Беллочка-Башенька. Это точно она, её глаза! Её ни с кем не спутаешь, она ни на кого не похожа. Она одна-единственная.

Шагал подходит, берёт её за руку и уводит... Теперь они гуляют по Парижу только вдвоём. Она должна всё увидеть.

— Это улица Сен-Жермен, — сообщает он тоном старожилы, — А это район Монпарнас. Вон там, гляди, за теми окнами студии, пишет Модильяни. А в том «плавучем корабле» Батоллавуар, на Монмартре, колдует Пикассо. Хотел бы я с ним познакомиться.

Белла только успевает крутить головой. Её широко раскрытые глаза горят чёрным огнём.

— А вот Нотр-Дам, — Шагал застывает, — Я тебе хотел показать это чудо. Не знаю, кто его создал. Наверное, сам Бог. Когда я его увидел, всё во мне перевернулось... Смотри! — он взмахивает рукой, — Корова летит над собором! А вот ещё! Коза и петух кружатся у облаков! Видишь? Это же мои коровы из Витебска! А петух — с той моей картины. А козу я написал в другой. Это моё живое небо над Парижем.

Вдруг горгульи на башнях Нотр-Дама задвигали крыльями, ожили, одобрительно кивают головами.

— Смотри, смотри! — восклицает Шагал, — они живые. Знаешь, в Нотр-Даме хранится венец Христа.

Белла удивляется:

— Да? Я не знала.

— Ты что! Это святыня. Благословенное место. Потому здесь всё настоящее, всё живое.

Они поднимаются по винтовой лестнице на крышу. Перед ними расстилается весь Париж. Он светится фонарями, свечами и звёздами.

— Это *наш* Париж! — шепчет Шагал. — Мы здесь будем жить. Здесь столько красок и столько цвета.

Белла улыбается.

— А теперь летим! — Шагал отталкивается ногой от крыши и увлекает её за собой в небо...

Проснувшись, он уже знал, *что* его так тянет домой. Пачка писем на столе не даёт покоя. Белла ему писала. Белла ждала все четыре года. Ещё год в разлуке — и, возможно, всему конец? Так что же — Париж или Белла? Белла или Париж? Ну... лучше бы, право, как во сне — Белла в Париже.

Пока же он просто поедет домой. Ведь и родной Витебск стучится в сердце. Столько лет вдали. Нет, пора...

— Но почему? — спрашивает его друг Сандрар. — Вы отлично ладите с надменными кубистами, Шагал. Выставляетесь в салонах. Вам даже предлагают устроить выставку в Берлине, наверняка, не последнюю. Зачем возвращаться?

— Я... ненадолго, — уклончиво отвечает Шагал.

И разбросав десятки, сотни картин и рисунков по друзьям и знакомым, отчаливает.

Скоро, скоро он будет дома. Его ждёт родное местечко Лиозно с его заборами, синагогами и мясными лавками. А в Витебске — Белла. Она там везде — в садах, в домах, в поворотах улиц. Она парит на всех его картинах. А на одной, написанной ещё до отъезда, — они парят вдвоём. Он даже назвал картину — «Моя свадьба». Ведь уже тогда он знал, что они вместе навсегда.

Глава 8.

Дэвид. 2013 г.

...Вторые сутки Дэвид катил по крутым серпантинам французских Альп. Горы почти не отличались от балканских. Хотя краски — как с палитры Ренуара или Моне звучали ярче под музыку Моцарта.

...В своё время, именно Моцарту Дэвид был обязан успехом серии абстрактных работ «Шестое измерение». Именно Моцарт подсказал путь к видению мира подсознания. Стефан организовал выставку в Лондоне, картины раскупили. Все и сразу. Кроме квартиры на родине, денег хватило на домик в горах.

До него — этого недавно обретённого пристанища уже близко. Ещё чуть-чуть, и он на месте.

Спускались сумерки. Дэвид катил уже на автомате. Спина взмокла, колечки волос прилипли ко лбу. Он был вымотан. Но от мысли, что встреча с домом совсем скоро, захватывало дух.

Километрах в пяти до места, Дэвиду попались два дома. Он видел их, указанными на карте: большое хозяйство с двором и изгородью. Один дом — каменный трёхэтажный, облепленный балконами и цветами, как многие постройки в местных деревнях, а второй — длинный — напоминал амбар.

Людей не было видно, и двор жил своей жизнью: на верёвках сушилось бельё, дремали припаркованные машины, привязанная коза жевала куст, у крыльца топтались подслеповатые куры, кошка сидела на ступеньках, а на лугу маялись две коровы — ждали, когда их загонят домой.

Да тут целый зоопарк, — улыбнулся Дэвид.

Наконец, асфальт закончился, и джип, замедлив ход, свернул на дорожку. По бокам колосилась трава, а вдали стоял серым изваяньем дом. Голос в навигаторе выдал долгожданное «вы прибыли!», и Дэвид нажал на тормоз. Всё! Руки сползли с руля, тело обмякло.

Ну, здравствуй, дом!

Старое, всеми забытое шале стояло посреди огромного луга и казалось выросло здесь само по себе, как цветок или гора.

Это был традиционный стиль, с грубо выступающими чёрными балками, державшими на себе ряд балконов и маленьких террас, подпёртых столбами из круглого светлого камня, — его добывали в местных горных реках. Стены аккуратно покрашены белым, отчего каменный «отшельник» словно светился в сумерках какой-то вековой тайной. Балки походили на ноги огромных пауков, — казалось, вот-вот оживут и начнут шевелиться. Ставни на окнах были раскрыты, и дом глядел застывшими глазами окон. Только спутниковая тарелка, сидевшая на крыше, одна выдавала время.

Под крыльцом Дэвид нашёл увесистый старинный ключ. Замок провернулся, на удивление, без усилий. Тяжело охнув, без скрипа, отворилась старая дверь.

— Ты что, дверь, молчишь? — удивился Дэвид, — Могла бы и проскрипеть что-то новому хозяину.

Внутри царили полумрак и прохлада. Дэвид сделал пару неуверенных шагов. Свет включать не хотелось. Он осторожно бродил по комнатам, прислушиваясь к себе.

От всего — от немногочисленной мебели, от редких предметов, висевших на стенах — исходили простота и спокойствие. Хорошо! Это очень хорошо! Сам воздух был какой-то лёгкий. Аскетизм — ничего лишнего. Ничто не будет отвлекать от работы.

Первый этаж состоял из прихожей, гостиной с диваном и телевизором, кухоньки и ещё одной комнаты — диванчик, тумбочка и комод. Дэвид задержался: комната с комодом вполне могла бы стать мастерской. Да и комод интересный — старый, нереставрированный.

Наверху была душевая, туалет и две спальни с балконами и террасами. Дэвид раскрыл балконную дверь, — пахнул свежий вечер, и открылась бескрайняя чёрно-зелёная даль — вверх и вниз уходящие горы.

Ну как? Ничего не смущает? Не раздражает? Художник улыбнулся, — ничего. Внутри было легко и свободно, а снаружи — свежо и тихо. Он поднял голову и раскинул руки.

— Спасибо, Господи!

Глава 9.

Четвёртая картина Шагала — «Моя свадьба». 1909, 70х60, холст/масло

— О, Возлюбленная моя! Как только я тебя увидел, я понял, ты моя жена. Это мои глаза, моя душа, моя... — Он хочет произнести её имя, но вдруг видит ангела, летящего позади её плеча, и вместо имени, называет её, — ...ангел. Мой ангел! У нас будет свадьба. Я тебя одену в белую фату — цвет чистоты, радости, мечты. Ты будешь навсегда моя.

Она молчит. Слова так малы. Её губы, как две капли крови — алые, округлые. Тёмные волосы струятся волнами. Она хоть и новобрачная, но не дрожит от волнения и страха, не льёт слёзы, облегчая душу. Никто не готовит ей кресло с лепными головками, не стелет красный ковёр. Нигде не слышно перешиптывания, не видно тётушек и кузин. Рядом только порхает маленький смешной, как голубь, ангел.

Ангел принес в клюве гроздь рябины — символ вечной любви и преданности. Он накидывает на её волосы белую фату, а небосвод раскрывает над ними балдахин с синим простором. В синеве парят только двое — он и она. Их свадьба свершается, как и положено, на небесах. Вокруг — ни звёзд, ни луны. Все звёзды — его глаза, странные, продолговатые. Сейчас его длинный глаз блестит в темноте. Ну, точно звезда.

...Когда она впервые его увидела, ей словно обожгло спину огнём. Его лицо было белое, как мел. Такого лица ни у кого не было. Он не похож ни на кого. Спутанные кудрявые волосы рассыпались, падали на лоб.

А он впервые не увидел, а услышал её:

— Какой у вас красивый голос, — сказал он, смеясь, — я слышал, как вы говорили.

Она тогда потупила взор. Почему он смеётся? Над ней? Все над ней смеются. Но какое у него лицо! Тонкое, острое, как у грустного Арлекина. Его образ потом долго гнался за ней: отмахивалась от него с одной стороны — он прицеплялся с другой. Голос его тоже не смолкал в её ушах — шутил, смеялся. «А имя! Носить такое имя!» И воздушная шевелюра, и пристальный взгляд.

Обычно с молодыми людьми ей неловко. Всё время хочется убежать. С ним же... Жила она себе тихо, глотала книгу за книгой, чуралась людей, даже от братьев, с их насмешками, отгораживалась. И вдруг явился он, поразил её глазами, белоснежными острыми зубами, шевелюрой, разговорами. Нарушил мирный ход её дней...

Вот и сейчас он смотрит на неё продолговатым глазом, длинным, как лодка. Он видит её насквозь. Эти глаза цвета неба. В небе или в его глазах она сейчас плывёт?

Он и она стоят близко-близко, и каждый слышит, как у другого, колоколом, бьётся сердце. Смешной ангел трепещет, машет крыльями, благословляя новобрачных.

Вот её Возлюбленный взял её руки в свои. Она в его руках — в сладких тисках. Ей уже не отвертеться. И она счастлива сгинуть в этом плену навсегда.

— Ты навсегда теперь моя, — говорит он, словно вторя её мыслям.

Кажется, он не смеётся. Голос серьёзный, а рука мягкая и тёплая. Но что это? Задрожало небо? Нет, это у неё подкосились ноги. Она его на веки! Только его! Он ведь не смеётся?

Ангел завис в воздухе. Где-то там внизу дремлют домишки, люди. Просят на ночь в дом кошки. Им всем и невдомёк, какое диво свершается у них над головами. Где-то там её отец и мать, её братья. Возможно, ужинают за столом.

Она так давно ушла. Он околдовал её, заманил, заморозил. Летним вечером они сидели у реки, смотрели на воду. Там плавали, нежно кружась, звёзды. Вдруг все звёзды разом прыгнули к нему в глаза. Почувствовал ли он это? Понял ли? Знает ли, что свет этих звёзд в его глазах

теперь не безымян. В них судьба. И она — несмышлёная маленькая девчонка — теперь навсегда озарена его великой судьбой, светом его глаз.

Он исчезал, пропадал, рисовал. Потом она рвала в чужом саду для него рябину, ободрав все руки. Пробиралась вечерами к его окну. Вокруг всё цвело, пело. Она была тогда маленькой, совсем дурёхой. И вот, наконец, сбежала к нему насовсем, навсегда, к своему ненаглядному, в его жизнь, в их общую судьбу на множество световых лет. И он оттолкнулся ногой от земли, легко и просто, увлёк её за собой в небо, закружил в вихре фантазий и красок. «О, Возлюбленный мой! Мой верный нежный друг! Как я жила до встречи с тобой!» Она сбежала, чтобы вместе летать к звёздам. И возвращаться домой не желает. Прощайте.

— Ты моя навсегда! — В третий раз повторяет он, сжимая её руку, — Ты слышишь? Что же ты молчишь?

Лёгкая улыбка таится в уголках её рта. «Молчишь...» А она была уверена, что столько поведала ему!

Глава 10.

Дэвид. 2013 г.

...Несмотря на дику усталость, спать Дэвиду не хотелось. А хотелось ещё продлить это тихое, безмятежное счастье обретения дома.

Дэвид выбрал северную террасу и расположился в кресле. Достал любимую трубку — что-то вроде талисмана — и принялся набивать ее шаманским табаком.

Этот табак купил ему Стефан где-то в горах Анд в Северном Перу. Стефан уже давно был не только агентом, но и закадычным приятелем, знал его вкусы и часто дарил что-то особенное. Вероятно, такое внимание зиждилось и на коммерческих интересах, но художнику хотелось верить в искренность дружбы. И он верил.

Перуанский табак был необыкновенно вкусным и настоящим. В хорошем табаке Стефан точно знал толк. От этого сушёного зелья тянуло колдовством джунглей. Не зря тамошние шаманы — паккос — употребляют его в ритуалах.

Дэвид посасывал трубку, расслабившись в кресле, глядя в мгlistую даль. Небо казалось зелёным в сторону изумруда, наступал закат. Воздух под крышей сгустился, смешался с ароматом гор, запахами трав и дыханием земли.

Курил Дэвид редко, в основном, когда одолевали грусть и сомнения. Когда он был спокоен, курение превращалось в медитацию, вызывало странное состояние.

Художник ждал этой минуты. Что-то происходит с цветом. Вот и сейчас небо казалось зелёным в сторону изумруда. Хотя, возможно, кажущийся зелёным цвет неба отливал и в сторону малахита. А ведь есть ещё нефритовый оттенок, ультрамарин, цвет амброзии, тёмно-бирюзовый, есть индиго, в конце концов. Ведь индиго, если разбавить стронцием — разбелить — то получится что-то вроде зелёного... Все цветовые колориты выстраиваются сейчас перед Дэвидом в одну гармонию — в гармонию цвета, формы и движения в пространстве, в предчувствие новых идей, неясных пока, неосознанных замыслов. Откуда, вообще, берутся идеи и композиции? Из этой жизни или из другой, о которой он ничего не знает? Кто кем управляет — художник фантазией или фантазия им? Наверное, ответы на эти вопросы искали и модернисты прошлого века, эту тайну они пытались раскрыть, разгадать в мучительном поиске. Может, здесь, среди горных вершин Дэвиду удастся приблизиться к истине.

Из потока мыслей его вывел звонок мобильного.

— Аллю!

В телефоне раздался мужской голос.

— Добрый вечер, Дэвид! Как вам дом? Ключи нашли?

Звонил риелтор, тот самый, кто нашёл ему это шале.

— Да, всё хорошо, дом замечательный. Такой большой! Не ожидал. А воздух — сказка. Ещё раз спасибо!

— Вам спасибо. Вы так быстро купили, практически не глядя.

Дэвид удивился.

— Так сумма смешная, почти бесплатно! Его арендовать было бы дороже.

Риелтор согласился:

— Ну да, домик старый. Там, вообще, дома редко покупают. Слишком далеко.

— И отлично!

— Кстати, в той местности водятся горные козлы. Если охотой увлекаетесь, могу посодействовать с лицензией.

Художник засмеялся:

— Нет уж, я, скорее, за фотоохоту.

— Ну, как знаете. Если что, я на связи! — попрощался риелтор.

Дэвид удовлетворённо кивнул телефону и развалился в кресле.

Снова затянулся трубкой. Шаманский табак, горный воздух и усталость делали своё дело. Голова легчала, тело расслабилось в почти алкогольной дремоте.

Но снова прервал звонок. На сей раз это был Стефан. Дэвид, увидев на экране довольное лицо друга, сам заулыбался. Включил громкую связь.

— Бонжур, мсье Стефан! Ты вовремя! Как раз, дегустирую твой табачок-с!

...Познакомились они совершенно случайно. Семь лет назад после Тель-Авива, Дэвид мыкался в Нью-Йорке, снимая углы. Но рисовать не прекращал. Брал треногу, холсты, краски, приезжал на метро на Манхэттен и вставал прямо на дорожках Центрального Парка.

Осень стояла божественная. Шурша листьями под ногами, взявшись за руки, бродили одинокие парочки. Парк золотился листвой — природа — тихая, таинственная, словно отдыхала после бурного лета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.